

СТАЛИНСКИЙ ГЛАМУР, или
«КРАСОТКИ КАБАРЕ» У МАРТЕНОВ 1942-го ГОДА

1.

Началось это тридцать лет назад, когда в Союзе вот-вот должны были отметить 40-летие Победы. Началось с обвинения в отсутствии «кузнецкого патриотизма».

К тому времени я давно жил в Москве, но не только по прежнему считал себя сибиряком – ностальгия сделала меня уже чуть ли не чалдоном. И вдруг – на тебе!..

Да за что?!

Подружились мы с ним в Болгарии. Он был руководителем нашей туристической группы, а я у него – «заместителем по политчасти». Обличенный, чуть не впервые, таким высоким доверием, я, вечный пересмешник, не только сам поприших, но даже землячков своих, бывало, приструнивал. Как тогда посмеивались, «курица – не птица, Болгария – не заграница», но все-таки...

Как-то сказал ему: мол, вчера выпивали и в номере разбили пепельницу. Такая была красивая!.. Может, поговорить с администратором гостиницы да отдать несколько левов из общей кассы?

Как он на меня поглядел!

Насмешливо спросил: войны из-за этой разбитой пепельницы не будет?

В тон ему ответил: «Да нет вроде».

Он распорядился: «Ну, и пусть люди отдыхают! Лучше из общей кассы ты на прощанье бутылку ракии выставишь – не хватит же, как всегда!»

Не директор комбината – отец родной!

Тем обиднее был для меня упрек: или ты уже – не сибиряк, не кузнечанин? Или ты все забыл?!

И я отложил все дела, даже самые срочные. И за несколько дней успел.

Газета «Правда», как он и хотел, мой очерк тут же напечатала. Назывался он «Елена и Евдокия».

Но вот ведь какое дело. Шли годы и годы, а рассказанное в нем не только не отпускало меня – как будто забирало все основательней. Все крепче. Все настойчивей.

Несколько раз я подновлял очерк, вставлял в очередную книгу. Но удовлетворения не было. В душе оставался некий тревоживший ее своей загадкой осадок.

Ещё раз попытался найти ему объяснение прошлым летом, когда прилетел в Новокузнецк на празднование пятидесятилетия первой домны Запсиба.

Но догадываться начал почти полгода спустя, когда над Россией вновь стали сгущаться грозовые тучи войны, и мир замер в ожидании развязки очередной и тогда уже, пожалуй, – последней общечеловеческой драмы.

Неужели и впрямь – вместо чуть не силком навязанных «общечеловеческих ценностей»?!

Но стоит, пожалуй, показать читателю предыдущий вариант, опубликованный в Старом Осколе в документальном романе «Бригадир».

2.

Бывают истории, написать о которых – всё равно, что навсегда освободиться от них: ярко мелькнула и навсегда ушла в тень.

Эта имеет для меня удивительное свойство постоянно возвращаться, всякий раз представлять в новом свете и всё горше, всё сильнее тревожить.

Не дописал?

Не досказал?

Полтора десятка лет назад назад до конце не осмыслил?..

* * *

С чувством невольной вины берусь я за этот маленький, чисто документальный рассказ о Елене Филипповне Малуковой.

Ирина, внучка Елены Филипповны, само собой, сказала ей: тебя, мол, бабушка, в Москве не было — приходил к нам писатель. Долго расспрашивал о тебе. Мы с ним твои фотокарточки разглядывали, твои документы смотрели, твои, бабушка, бумаги. Погоди: вот уж напишет о тебе — почитаем!

Как знать, может быть, мой рассказ хоть немного скрасил бы жизнь этой, уже очень пожилой женщины. И чуть-чуть утешил ее. И хоть слегка поддержал.

Ведь, кроме всего прочего, она артистка была! А это как бы предполагает и особую склонность ко всякому вниманию, и особую чувствительность.

Как знать: может, она ждала этого рассказа о себе... Ведь приходил же человек? Наверняка не просто так приходил.

На то свои причины, как говорится: собрался я только теперь.

Но это не первая попытка: начать мне придется с текста, который написан был почти три года назад.

...Есть такие города, есть: стоит пожить в нем десяток лет, и ты принадлежишь ему уже навсегда. Куда бы тебя потом судьба ни забросила, куда бы ни переехал — душа твоя все равно прописана там... Но вот еще что! Город словно сознает свою беспрекословную власть над тобой. На время о тебе там могут и позабыть, даже старые товарищи, бывает, годами привета не передадут, им некогда, видишь ли, совсем там заработались — такой это город! Но как только ты зачем-либо этому городу понадобишься, тут уж никакие отговорки тебе не помогут: как это?! Разве, мол, ты — не наш?

В самом начале мая прошлого года, в канун 40-летия Победы, по междугородной неожиданно позвонил мне директор Кузнецкого металлургического комбината Алексей Федорович Кузнецов. Без всяких предисловий спросил: «Ты «Правду» сегодняшнюю читал?.. Видел, как нас обидели?!»

В «Правде» в тот день была напечатана статья «Стальной щит Родины» — о подвиге Магнитки в годы войны. И я, хорошо зная о давнем соперничестве двух индустриальных гигантов — Магнитки и КМК, ответил спокойно, даже, пожалуй, слегка посмеиваясь над ревностью своего старого доброго знакомого: какая, мол, тут, Алексей Федорович, обида?.. Сегодня поместили об уральцах, а завтра наверняка и о сибиряках дадут, о кузнечанах, — иначе не может быть.

Но Кузнецов чуть ли не кричал: «Да в том и дело, что не сегодня и не завтра, можешь это понять?! От нас недавно «правдинский» собкор в Донецк переехал! Некому написать. А люди мне с утра житья не дают: это как же, мол?! Об уральцах написали, а где — про нас?! Короче, так: к девятому мая в

«Правде» должна быть статья о комбинате. Садись и срочно пиши».

Я стал было возражать: разве это срок — четыре дня?.. Не успею!

«Ах ты, бедненький! — прямо-таки ласково начал директор, но я-то уже знал, что за этой обманчивой лаской последует. — Когда в сорок первом было надо, мы за трое суток, считай, броню катать научились, на четвертые уже в наркомат обороны докладывали, а для тебя теперь три дня — это мало? Недоспать боишься?! А то, что и школа передового опыта по броне у нас была, в Новокузнецке, что за войну у Магнитки только один орден, а у нас — два, да еще какие, какие?! Второй у нас — Кутузова первой степени. Боевой орден — ни у кого из металлургов такого нет больше — это для тебя как?! Да может, ты и вообще жил в Магнитогорске, а не в Новокузнецке?! — И снова перешел почти на шепот. — В общем, голуба, так: немедленно — за стол. Остальное тебе — секретарь парткома. Факты даст. Передаю ему трубку».

Такие, как говорится, пироги.

Еще десяток минут назад ты об этом и думать не думал, у тебя были совсем другие планы, у тебя на столе — неоконченный кубанский рассказ...

Эх, как он кипел во мне!.. В нашем деле, как в поварском: бывает, варится в тебе что-то как бы на медленном огне, варится и варится, но услышал либо какую историю, либо только одно словечко — и словно сухих, как порох, дровец в очаг подбросили. Затрещал весело огонь, в котле забулькало: вот-вот готово будет, вот-вот! Теперь забота: приправу бросить да момент не пропустить — снять вовремя.

У меня давно уже сложился сюжет об одном тихом, как ясная осень, робком по характеру чабане, который во время войны был лихим разведчиком. Предки его были казаки — пластуны... И вот на Кубани в самом конце апреля, когда ветераны уже начали потихоньку поглядывать на ордена, готовиться к празднику, один старик сказал мне: «А ты знаешь, как они звали себя раньше, пластуны-то?.. Какой у них был девиз? Скажу тебе: «волчий рот, лисий хвост». Горло перехватить — и следа не оставить. Серьезные были хлопцы - пластуны, у-у!..»

Удивительное дело: словно знания этого девиза мне только и не хватало — в поезде я прямо-таки мучился, не мог дождаться, когда приеду, сяду наконец за рабочий стол...

Но и этот стальной сибирский город, в который влюбился почти мальчишкой, успел прикипеть душой в дни молодости и беззаветно предан был до сих пор, я не мог подвести.

Город, в котором всякий малый парнишка знает, что каждый второй танк в войну был из кузнецкой брони, каждый второй снаряд — родом отсюда... Кузбасс стоял тогда против Рура. Стоял насмерть. Голодный стоял, полураздетый, недосыпавший. В разбитых, стянутых бечевкой отцовских сапогах стоял на перевернутых ящиках. Стоял на таком тогда и начинавший после ремеслухи учеником токаря Кузнецов, нынешний директор, — лишь бы дотянуться до суппорта на станке, лишь бы еще один патрон — туда, на фронт, нашим...

И я отложил все другие дела, все бросил. И с яростным чувством человека, который во что бы то ни стало должен догнать уже отошедший поезд, бросился звонить москвичам — металлургам, работавшим в годы войны на комбинате в Новокузнецке. Вся надежда была на них: что хранят они в памяти о тех временах? Что больше остального запомнилось?

Между звонками лихорадочно рылся в своих бумагах, искал старые записи и вдруг наткнулся на короткую строчку: «Актриса оперетты. Днем — мартеновский цех. Каждый вечер — на сцене. Как жила?»

Тут как раз позвонил один из пожилых кузнечан, которого я перед этим через общих знакомых упорно разыскивал, и я первым делом напомнил ему: Московский театр оперетты в годы войны эвакуировали в Новокузнецк. Так вот, не знает ли он что-либо об актрисе, которая...

«Слышал, да, но это — легенда, — уверенно сказал мой собеседник. — Судите сами: провести смену у печи, а вечером — петь... Ну, реально ли? Нет, это из области преданий, поверьте мне!»

В тот день в Министерстве черной металлургии был митинг в честь ветеранов, я рассчитывал найти там кузнечан, уже торопился и потому только коротко поблагодарил моего собеседника-реалиста... Зато когда уже после митинга сидел напротив главного специалиста по стали Михаила Моисеевича Привалова, по случаю

торжественного дня надевшего все свои многочисленные ордена и регалии, все же не удержался, спросил его: «А вот эта легенда об актрисе из оперетты...»

Привалов, который до этого был до крайности сдержан, потому что расспрашивал я его о нем самом, работавшем тогда на комбинате начальником первого мартеновского цеха, теперь щедро улыбнулся: «Какая же это легенда? Была такая — Лена Малукова. Подружка Брагиной Дуси. Обе в моем цехе работали подручными у Чалкова — о нем-то вы должны знать. Дуся была второй подручной, дело уже хорошо знала, да и вообще она из тех, знаете, о ком говорят: бой-баба... А Лена только пришла, только начала азы схватывать — уж ей-то от Дуси доставалось! Хоть характером тоже не слабенькая, а так ее, бывало, Дуся покроеет — станет в уголке, слезы размазывает... А вечером вместе в театр спешат — он тогда напротив был, через площадь. Лена быстрее гримироваться, а Дуся садится сразу в первом ряду — там у нее постоянное место было. Все уже знали: Дусино! И вот Лена петь начинает, а Дуся сидит, на весь зал носом хлюпает, сама теперь плачет — так ей нравилось, как Лена играла. Да вы позвоните Лене... Елене Филипповне теперь, она вам — все поподробней...»

Телефонный разговор с Еленой Филипповной Малуковой пришлось начать с извинений: в такие рамки поставлен, что не могу выкроить часок, чтобы, не торопясь, поговорить за чайком... Может она поэтому, простив меня за бестактность, ответит: сколько же ей в то время было?.. Жить на скудный паек актрисы, а деньги, заработанные в мартеновском цехе, целиком отдавать в фонд обороны — как на это хватало сил?

Она сказала коротко: «Так ведь война шла!» Потом словно призадумалась, и по голосу стало ясно, что говорю я с очень пожилой женщиной:

— А было мне... сколько же мне тогда? Лёне шел восемнадцатый, его уже тяжело ранили, в госпитале как раз лежал...

Снова пришлось извиниться, что спрашиваю в лоб: Леня — это кто? Муж?

— Сын, что вы! — сказала она. — Леонард. Муж был художник, поэтому так его и назвал... А мне... Если я в девятьсот первом родилась, то, значит, в сорок втором...

Черновик недописанного очерка сперва лежал на уголке моего стола в стопке других бумаг, потом переключался в тумбочку рядом,

затем еще дальше... Но нет-нет и возникали вдруг видения далекого сорок второго года.

...Заснеженная просторная площадь с протоптанными там и тут, постоянно заметаемыми злой вьюгой тропинками; площадь, пока почти пустынная, — это потом, когда наши начнут наступать, появятся на ней привезенные в переплав «тигры» с развороченными боками да рваные остатки «юнкерсов», и ребячьи со всего города, который тогда звался Сталинском, станут бегать сюда, как на детскую площадку; по железу, пахнущему пороховой гарью, будут шнырять, как шныряют нынче детишки по сказочным теремкам да по раскрашенным под игрушки ракетам из дерева и жести — самым мирным, какие только могут быть на земле... Но это потом, потом, а пока мартены в огненном чреве тяжело переваривали куски своих же рельсов — десятки, сотни километров скрученных взрывами авиабомб рельсов, на которых еще рыжела кровь беженцев, переваривали гнутые колеса от санитарных поездов. А через пустую пока площадь торопились двое — в черных шапках-ушанках, в надетых поверх изгвазданных сталеварских курток заношенных телогрейках, в суконных толстых штанах навывпуск — поверх пимов... Одна из женщин потом скроется за кулисами, снимет все это в нетопленной костюмерной, чтобы через несколько минут в немыслимо веселом наряде, легкокрылой птахой выпорхнуть на сцену, а другая так и сядет в первом ряду, только что верхнюю пуговку у телогрейки на воротах расстегнет да платок на плечи опустит, — и мрущая от тоски, боящаяся зачерстветь среди нехваток, среди грохота и мата душа ее, как скрипка в оркестре, начнет настраиваться на горькую печаль об ушедшем счастье, на светлую веру в то, что оно еще вернется, непременно вернется — если не для них самих, Дуси Брагиной и Лены Малуковой, то для тех, ради кого надрываются они на непосильной своей, на неженской работе...

Вот что — с явным замахом на длинное неторопливое повествование — написал я о Елене Филипповне почти три года назад...

Спустя какое-то время я побывал в ее доме, поговорил с внучкой.

Тут надо, пожалуй, объяснить, почему в старый дом на улице Щукина, недалеко от Кропоткинской, от Остоженки, я пошел, не

дожидаясь, пока Елена Филипповна из Орехова-Зуева вернется в Москву...

Дело в том, что в мыслях своих я очень часто возвращался к жестокой зиме рокового сорок второго года, к тем людям, которые чуть ли не собственным дыханием отогревали тогда в тылу обескровленную, замерзающую свою родину. История московской актрисы стала для меня как бы доказательством в некоем внутреннем споре, который нынче почти в каждом из нас то слегка затихает, то с новой силой разгорается, не прекращаясь ни на миг...

Ужели о бескорыстии забыли окончательно и утонули в эгоизме — уже навсегда?.. Ужели, как в старой поговорке, один Бог нынче за всех, а каждый — лишь за себя, и даже когда печемся об общем благе, делаем это не в самозабвении, нет — волей или неволей в первую очередь себя стараемся не забыть. А если это становится делом жизни?.. Достигшей высочайшего мастерства профессией: себянезабыватель?

Конечно, он не бежит наперегонки со всеми, не тянет руку, как мы, бывало, в детстве, после войны — за «сороковкой» от яблока. Не кричит во все горло: «А мне, а мне?!»

Он тихо нынче.

Как когда-то давно - пластун.

Волчий рот, лисий хвост.

За горло — и ваших нет. И денежки — на семи сберкнижках. Дворец стоит. Во дворце только птичьего молока и не хватает. И — нет проблем, как нынче говорят. Никаких.

Серьезные хлопцы, у-у!.. Из-под стоячего подметку вырежут.

Пластуны, современные пластуны!.. И если те нележкой своей кровавой работой занимались ради Отечества, то наш нынешний «себянезабыватель» не ради него пластается, нет!

...И тут вдруг клубы огня, дым, гарь... отодвигается от жерла печки ствол черной завалочной машины, и все пятеро подручных, все одетые в рвань женщины с тяжелыми совковыми лопатами наперегонки бросаются подбирать с бетонного пола просыпь, и — в печь ее, в печь. Потом лопатами — добавки, ферросплавы. Для крепости. Быстрее, быстрее... Сталь варится! Броневая.

— А ты, сучка, под ногами!.. Чего топчешься?! И не выкатывай зенки, не выкатывай!

И она утыкается потным лбом в горячий, пропахший тяжелой копотью суконный рукав, размазывает по щекам блестящий жирный графит...

«Красотки, красотки, красотки кабаре!

Вы созданы лишь для развлечения!..»

Когда это во мне взрывалось и потом уносило дым, наступала вдруг удивительная, как после мгновенных слез, ясность, даже не ясность — просветленность... Вот как они жили, спасая тогда страну. Святые люди — хоть житие, и в самом деле, пиши. Святой Елены. Святой Евдокии. Так и нам жить нынче необходимо! Всем. И надо мне поскорее рассказать об этих двух женщинах — тоже всем, всем!

Неужели мы совесть потеряли окончательно и нас уже ничто не прошибет? Неужели не устыдимся, не перестанем тянуть одеяло — каждый на себя, когда сироты мерзнут?.. Может, вспомним наконец и о достоинстве, и о чести и перестанем врать, и в рот кому-то заглядывать, и к чьим-то делам, воруя чужую славу, примазываться?.. Вот что сейчас надо: большая совковая лопага и очищающий все огонь, все переплавляющий в крепкую сталь. В броню!

... Просторная, с высоким потолком комната в большой коммунальной квартире старого дома... Было в ней, очень скромно обставленной, что-то странное, и я, приглядевшись, понял: путаница примет. Меж бабушкой и внучкой делила ее не ширма со старомодным, собранным гармошкой рисунком на ситчике — что-то невидимое делило по вертикали. Склянки с лекарствами на тумбочке, пластмассовая темная коробка, в которой наверняка лежал прибор для измерения давления. Очки на краю заваленного книгами и газетами стола — явно старушечьи... Все это как бы тут, внизу, а повыше, на вешалке, — синяя «ветровка» и оранжевый, похожий на хоккейный, шлем и тут же гитара в чехле; на краю высокого платяного шкафа замерли новенькие горнолыжные ботинки. На стене большая фотография: заснеженные деревья и белые пики позади. Приглядывался к ней, и Ирина пришла на помощь:

— Терскол! — улыбнулась насмешливо и чуть грустно. — Учило государство, учило... Экономико-статистический закончила, как вам, а?.. А теперь в московском Доме туриста. Инструктор по горным лыжам. Хоть деньги обратно отдавай.

Я догадался:

— Это бабушка так считает?

— Ну, а кто же еще?

Долго разглядывали с Ириной фотокарточки. Она, верно, давно их не видела — что ж тут такого, если бабушка и так всегда рядом, — и рассматривала теперь тоже словно впервые... А может, не только заново ловила сходство с этой высокой и белолицей красавицей — то в «оперетошном» наряде, где малость, а где посильнее загримированной, а то в обычном костюме — пожалуй, даже чуть строгим. Высокая, с волной впереди и с локонами до плеч послевоенной моды прическа, но в глазах — то же самое неудержимое, прямо-таки решительное — как перед публикой — веселье.

Потом она помогала мне переписывать кое-какие из бабушкиных бумаг.

Бисерный почерк: «Моск. театр оперетты. «Тамбур-Мажор» — настоятельница монастыря. «Свадьба в Малиновке» — Ганнуса. «Сорочинская ярмарка» — Хивря. «Вольный ветер» — жена партизана. «Сильва» — Воляпюк. «Ярмарка невест» — мать. «Роз-Мари» — Эттель. «Песни Березины» — белорусская колхозница. «Табачный капитан» — боярыня Свиных и др.».

Список ролей Елены Филипповны.

Ниже — крошечная заметка из «Большевицкой стали» за 19 сентября 1943 года.

«Сталевары — артистке.

Мы хотим рассказать о друге сталеваров — артистке Елене Филипповне Малуковой.

Она пришла к нам в цех в прошлом году. Это был ответ патриотки на первомайский приказ тов. Сталина. Многие из нас с недоверием смотрели тогда на появление в цехе, около печей, актрисы. Но это продолжалось недолго.

Елена Филипповна бралась за любую и часто самую тяжелую работу, у печи она появлялась даже ночью, сразу же после спектакля. Не раз наши старые сталевары восхищались энергией, которую вкладывала она в каждую мелочь выполняемого задания.

По книгам и на практике изучила она технологию производства и добилась своего: она освоила профессию третьего подручного сталевара. Весь свой заработок тов. Малукова отдает в фонд обороны.

Часто встречались мы с актрисой и в театре. Мы от души веселились, глядя на сварливую тетку Ганнусю в спектакле «Свадьба в Малиновке», с огромным интересом встречали русскую купчиху в «Табачном капитане».

Счастливого пути вам, Елена Филипповна!

Желаем вам новых успехов в творческой работе. Сталевары города Сталинска будут посылать вам в далекую столицу свои приветы тысячами тонн необходимого фронту металла.

Сталевары: Васильев, Чалков, Ляхов, Горбатов и др.».

Пока Ирина для меня это переписывала, я все перебирал бумаги... На обороте пожелтевшего снимка заметил уже еле видную карандашную строчку: «Оладьи из мерзлой гнилой картошки — тошноты».

Знаменитые кузнецкие «тошнотики»!

В Сталинск, тогда еще не переименованный, я приехал в 1959 году, через четырнадцать лет после Победы, а слово было еще в ходу, в ходу оно еще и сейчас: помнят сибиряки, как тогда помирали с голоду, как, спасибо, не все померли, не все!

Перебирал бумаги и вдруг нашел старое, явно заношенное, с обтертыми уголками полукартонной обложки «Удостоверение донора». Пожелтевшая бумага внутри: «Тов. Малукова Елена Филипповна является...»

— Ира? — окликнул я. — Она еще и кровь сдавала?.. Тогда?

— Я ее тоже как-то спросила, — подняла Ира голову. — Ба, а как тебя на это хватало?.. А она поглядела на меня и так серьезно говорит: а ты знаешь, какая она здоровущая была — Дуся Брагина?.. Я говорю: ба! А при чем тут твоя Дуся?.. А она: интересно ты, Ирка, у меня рассуждаешь! Значит, Дуся идет сдавать кровь, а я что?.. Должна сказать: не могу?! Я ей говорю: ба! Так вот почему ты упала во дворе, когда из медпункта вышла, — помнишь, рассказывала? А она: самое ужасное, что Дуся тогда оторвала мне у кофточки воротник, чтобы стало дышать свободней... Она думала, я кончусь! Но я ничего — привыкла.

«Красотки, красотки, красотки кабаре! Вы созданы...»

— Ира, — спросил я, — а бабушка была потом в Новокузнецке? После войны?

— Тут смешная история, — сказала Ира чуть грустно. — Кузнецкому комбинату было пятьдесят лет... пятьдесят, да? Собрались сталевары из разных городов, и там прошла эта плавка

— в фонд мира. Бабушка прочитала в газете и спохватилась: это как же, мол, — без нее?.. Ну и срочно отправила на комбинат свою пенсию. Чтобы туда же передали, в фонд мира. Тут-то о ней и вспомнили... Пригласили. Там как раз передачу готовили — эту. «От всей души». Ну и наша «ба» тоже в нее попала...

— А пенсия у нее? Сколько?

— Сто десять рублей, — сказала Ира. — Но бабушка считает, что все в стране на ее пенсии держится. Все бы развалилось давно, если бы она ее туда или сюда не посылала. И в детские дома, и в Красный Крест... ну, это лишь она сама точно знает количество организаций, которые только и живут на ее дотации...

Почему не написал о Елене Филипповне сразу после того, как побывал на улице Щукина?.. Может, эти внутренние волны, враз подхватывающие и возносящие сердце, очень обманчивы: как приходят стремительно, так мгновенно же и уходят? В настроении что-то перебилось? Что-то переломилось в душе?.. Или по рукам и ногам связали собственные заботы, бывает же: не без помощи добрых людей жизнь так вдруг закрутит, что и с Божьей помощью еле выплывешь...

Где эта бабка, что раз и навсегда нас отшептала бы? И жили бы как все люди. Хоть трава не расти!

Встретит тебя старый дружок, начнет горячиться: «А тебе, брат, не кажется, что при том обилии споров и разноречий, которые мы нынче наблюдаем, недурно было бы передавать по телевизору уроки физиогномики?.. Да-да!.. Хоть по образовательной программе, а хоть по первой. Чтобы искреннего человека умели отличить от актера, от лицедея... ты не считаешь? А то ведь доверчивый наш соотечественник так, бывает, сладкими речами «себянезабывателей» заслушается, что не замечает ни волчьего огонька во взгляде, ни лисьей улыбки на губах... Ты знаешь, кто такие современные пластуны? Знаешь?!»

Ты нарочно громко зевнешь, лениво бросишь: «Эх, ладно, милый!.. И постоял бы с тобой, да недосуг. Привет, милый. До встречи!»

А вечерком жене скажешь: «Этого нынче встретил... Городского сумасшедшего. О физиогномике что-то начал толковать. О пластунах вдруг...»

Но опять я судорожно рылся в бумагах, отыскивал черновики. Опять мне казалось: надо, надо поскорее рассказать о Елене

Филипповне Малуковой, о ее новокузнецкой подружке Дусе Брагиной... Всем-всем.

Отыскал наконец номер телефона, снял трубку.

— Ирину?.. Ирина на работе.

— А... Елена Филипповна, извините? — спросил осторожно.
— Жива ли, здорова?

— Нет Елены Филипповны. Года полтора назад умерла.

Родное наше, российское: все откладывал, откладывал. Казалось, впереди — вечность. И я еще непременно увижу Елену Филипповну и побываю в Новокузнецке, поподробней расспрошу о Дусе Брагиной, с самой повидаюсь, коли жива... Не успел!

Позвонил попозже. Повинился. Посочувствовал. Потом спросил: «Когда бабушка умерла, не сообщила Ирина в Новокузнецк?.. А туда, где когда-то работала Елена Филипповна — в театр оперетты?»

Еще до ответа понял, что было ей по-житейски не до того...

Справился о работе — да, все там же. Правда, теперь у нее не только горные лыжи, но и виндсерфинг тоже. Стала инструктором и тут. Значит, парус уже не падает на воду?.. Нет, не падает. На любой волне, под любым ветром — уже нет.

Родное наше, российское: опоздал...

Ведь мысленно обращался к ней очень часто — выходит, когда Елены Филипповны уже не было, все числил, все числил ее в живых... Может, не зря?

Коли жива память — жив и дух, и надо, чтобы он жил, непременно жил дальше — всемогущий и всеспасительный. В родных бы жил. В близких. В нас — только слышавших о ней. В тех, кто теперь о ней прочитает...

А увидите на Москва-реке, на Черном ли море, на быстрых волнах в любом другом краю стремительный косой парус над юркой доской, отчаянную молодую пловчиху на ней — припомните этот мотив из «Сильвы»:

«Красотки, красотки, красотки кабаре!..»

И вспомните этих женщин в пропахшем гарью суконном черном рванье, яростно бросающих в огненное жерло мартена

тяжелую просыпь жестокой зимой сорок второго года. Варивших сталь.

Вспомните.

Пожелайте здоровья и ясной осени тем из них, кто еще потихоньку здравствует. Помяните ушедших. Ради живых.

Ради всех живых на Земле.

* * *

Этот документальный, с мягким всем нам укором, рассказ был написан в середине восьмидесятых прошлого, получается, века, а десяток лет спустя, в девяносто седьмом, я попал в музей Советской Армии на многолюдный праздник 50-летия знаменитого «калаша» - автомата Михаила Тимофеевича Калашникова. Только что вышла книжка его воспоминаний «От чужого порога до Спасских ворот», в которой я значился «литературным записчиком», и о происходящем торжестве знал чуточку больше некоторых других, на нём присутствовавших.

Знание это было, прямо сказать, не очень весёлое, и в самый разгар шумных именин «АК-47» я на пяток минут отлучился, чтобы вновь постоять над стеклом, под которым в одном из залов, посвящённых Великой Отечественной войне, лежит старый, с круглым магазином, «пэпэша» - пистолет-пулемёт Шпагина. На его прикладе прикреплены вытертая солдатскими ладонями металлическая планка: «Сибиряку – от Чалкова».

Возле стенда остановилась большая толпа, пожилая женщина с указкой (нынче, когда дописываю эту главу, у меня вдруг мелькнуло: а что, если бы все женщины-экскурсоводы в этом музее были одеты, как Родина-Мать на известном плакате времён войны?!) заученно рассказывала: мол, сталевар Александр Чалков за срочное освоение выплавки брони на Кузнецком комбинате получил Сталинскую премию и отдал её на приобретение автоматов для своих земляков, воевавших в Добровольной Сибирской дивизии... мол, с фронта приехал в нынешний Новокузнецк, бывший Сталинск, представитель от бойцов-сибиряков и вручил сталевару гвардейский значок, который тот носил потом на пиджаке рядом с самой высокой по тем временам наградой – орденом Ленина.

- И всю до копейки премию отдал? – громко спросил вихрастый паренёк у молодого, немногим старше него, мужчины. – Всю-всю?

- Тогда попробуй, брат, не отдай, - с печальной усмешкой взялся объяснять старший. – Такая жизнь тогда – всё только по приказу...

А я опять вспомнил подручных Чалкова: Брагину Евдокию, сибирячку, и Малукову Елену из Москвы.

И всё вспоминаю нынче, когда специальный металлургический термин «передел» обрёл уже иной, коммерческий, а то и откровенно бандитский смысл...

Не дописал тогда? Не досказал, потому что просто не мог до всего этого додуматься?

Но как это можно теперь честно и справедливо досказать?

Как до конца осмыслить?

На стендах музея Советской Армии «Автомат Чалкова» выставлен совсем рядом с другим любопытнейшим экспонатом: винтовкой Героя Советского Союза адыгейца Хусена Андрухаева. В конце рокового 41-го совсем молодой тогда воин-черкес, политрук стрелковой роты, один остался прикрыть отступающих бойцов и в ответ на предложение немцев сдаться крикнул ставшее знаменитым: «Русские не сдаются!»

Тоже действовал, как все тогда, по приказу?

Перед началом боя, выходит, получил строгое предписание: если останешься на высоте последним живым, обязательно крикни не что-нибудь, а «Русские не сдаются!» и, когда немцы подбегут, взорви себя, не забудь, вместе с ними связкой противотанковых гранат.

Приказ он выполнил.

Но что же это был за тайный, только верной душе известный приказ, о котором нынче начисто позабыли тихой сапой сдающие нас теперь самые высокие военачальники?!

3.

Уже приходилось писать, что накопленные за годы бумаги живут своей как бы независимой жизнью. Какая-то вдруг надолго

спрячется в ворохе других, попробуй найди её, но в определенный момент неожиданно вынырнет: ну, будто тебе специально ее подсунули!

На этот раз так было с папкой фотографий, которые когда-то взял у Ирины, внучки Елены Филипповны. Разумеется, с обещанием тут же вернуть.

Сперва позванивал, но дома не заставал. Потом ответил другой женский голос: мол, этот номер у меня давно, никакой вашей Иры не знаю.

Собирался при случае найти по памяти дом, квартиру, соседей расспросить, если что, а то у них фотографии и оставить. Но ведь дело это известное: благими намерениями дорога в ад вымощена.

А времена такие пошли, что, бывало, – настолько не до того. Тем более при моей кочевой жизни, прямо-таки предсказанной одним известным московским целителем, бывшим новокузнецким пожарным...

И вот теперь – нате вам!

Целая папка фотографий: штук тридцать.

Помню, что когда-то подумывал: может, однажды зайти с ними в Московский театр оперетты? Снимите копии! – предложить. Ведь это, братцы, в том числе и – ваша история. Да какая удивительная, какая славная!

Вообще чего только не думал об этой истории. Пьесу написать?.. Предложить для кино?

Но эти хождения в «чужой огород» настолько сложны и непредсказуемы. Теперь уже со своим «огородом», в родной-то прозе, не разберешься, а не то что...

Перебирал теперь фотографии, большие и маленькие, глянцевые и на матовой бумаге, и о чем только снова не размышлял.

Очень жалел, конечно, что больше «опереточных» снимков, с расфуфыренными красавицами, а «рабочий» – только один. Зато какой снимок!

Над измазанным заводской копотью личиком приподняла черные, как положено сталеварам, очки и рукою в брезентовой варьге, безразмерной верхонке цветом чуть посветлей очков, придерживает их на лбу, у края суконной шапки. Но в глазах прямо-таки сияет то же озорство, что на актерских фотографиях, а брови либо заметно подведены перед съемкой либо уже на фото явно подретушированы.

Известное дело: суровая газетная школа «Большевистской стали», которая тогда выходила в Сталинске. В 1958-ом, студентом-практикантом, еще застал её в недавно переименованном «Кузнецком рабочем». Накануне переименования всей остальной нашей Кузни.

Всматривался в остальные фотографии, и многое открывал для себя как бы заново. Эффект изменившихся времен?

Однажды даже подумалось: может, для того-то эти старые снимки так долго и прятались, чтобы появиться потом в урочный, что называется, час?

И горьким напоминанием самому: когда, мол, до тебя окончательно дойдет, горе-писатель?.. Что главное в твоём деле – не умело придумать. Главное – осмыслить реалии.

И – очередным напоминанием «городу и миру». Насколько это напоминание в наших условиях возможно.

Помнится, лет двадцать назад на проспекте Metallургов, напротив драмтеатра, начали ремонт старой, еще времен «Кузнецкстроя», пятиэтажки, и под окнами нижнего этажа, на уровне глаз, под штукатуркой обнажилась громадная надпись красными, почти метровыми буквами. Во всю стену – от угла до угла: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОЕВОЕ АНГЛО-АМЕРИКАНО-СОВЕТСКОЕ СОДРУЖЕСТВО!»

А?!..

Долго стоял перед ней, когда увидел впервые, и шаг замедлял всякий раз, когда проходил потом мимо...

А вдруг, думал, городские власти решат её на доме оставить? Подновить бы хорошенько, а что?.. Прибить бы рядом табличку.

Не знаю, что во мне говорило больше. Детская ли, времен войны, восхищенная память об американских «студерях»? О мощно ревуших «стубеккерах», на которых уже в сорок третьем прикатали на краткий отдых в нашу станицу морские пехотинцы, откармливавшие нас, тощих после оккупации шкетов, заокеанской тушенкой... То ли дало себя знать благодарное почитание великой американской литературы, на которой кроме своей, кроме русской литературы, считаю, вырос.

Или то были отголоски последней надежды на трезвый разум и на порядочность, стремительно покидавшие эту манией величия большую страну – Америку? Тоже на глазах моего поколения. И – на моих тоже.

Размышляю сегодня: пусть от центра Новокузнецка, где стоит это здание со вновь покрашенным лозунгом, до Кузнецкого комбината, где московская беженка грелась у самой горячей в городе печки, и до старого театра, где вечером пела, не так-то близко. Она ведь наверняка этот лозунг видела, Елена Филипповна. И наверняка ощущала себя очень нужной, прямо-таки непременно участницей этого «боевого содружества».

Сколько тонн, любопытно подумать, стали, так необходимой в те годы для общей победы, пришлось, подсчитать бы, на ее нелегкую долю?

Зато ученым-статистикам с достаточной точностью известно: нынче в развитых странах, прежде всего, в США, на душу населения выплавляется 500 килограммов стали. Полтонны в год!

Чтобы каждые два-три сезона гарантированно (теперь есть даже такая специальность: «гарантийщики») ломались и шли в переплав якобы устаревшие легковые автомобили и выпускались новые; чтобы стремительно менялась мода на все-все, буквально все вещи, для производства которых необходим металл, ну вплоть до лезвий и зонтиков. Чтобы в затопившем планету «потреблятельстве», это уже обычный экономический термин, все не только оставалось на достигнутом развитыми странами уровне сытого благополучия, но поднималось выше...

Не слишком ли жирно, ребята?

И, главное, – для чего?

Если по столько стали, используя какую-нибудь из вами же придуманных деклараций «человека и гражданина», пожелает на Земле каждый – мировые запасы сырья исчерпаем уже послезавтра.

Но не раз спасавшая мир философия самоограничения и добровольного довольствования малым нынче загнана вами в угол и считается почти непристойной.

А что вы, кроме дезодорантов да прокладок предложили взамен?

Ну, виноват...

А всего – пока одна только фотография!

Оказалось, совершенно забыл, что у Елены Филипповны имелся орден Ленина...

За что? – было, было за что наградить.

Но – когда?

В Сталинске, в сорок втором, всем было явно не до того. Может, получила уже потом, в Белоруссии, в Бобруйске, куда уехала вслед за мужем?

На обороте другого снимка, одного из самых выразительных, нашел строчки: «Милому дорогому сыну Леонарду!

Посмотри на неё и будет тебе сразу легче на душе!

Я думаю, ты с удовольствием улыбнешься. Вот эта самая Дунька, которая не дает покоя зрителю, вечно смешна. Пьеса «Любовь Яровая».

Будь здоров, милый мой сынок Леонард!

Любящая тебя мама. 2 октября 1953 г.»

Тоже, считать, – «белорусский» снимок? Уже драматической актрисы.

Несколько самых больших, одинаковых по размеру, жанровых, ближе к бытовым, фотографий... Не любительских, явно профессиональных. Снималась в каком-то фильме о русских женщинах? Кому, как не ей, и сниматься в этой роли!

Или съемок не было – лишь «пробовалась»?

Один-единственный, считай, коллективный снимок: к давно пережившей не первую молодость Елене Филипповне, она с букетом хризантем в руках, полуобернулся сидящий рядом известный писатель-сибиряк Георгий Марков, долгие годы возглавлявший Союз писателей СССР, а над ними склонилась с микрофоном тоже известная в прошлом телеведущая Валентина Леонтьева, старшие помнят. Была такая эмоционально-заряженная и умная патриотическая передача: «От всей души».

Справа, чуть в сторонке от них, сидит народная артистка Татьяна Шмыга, прима Московской оперетты.

Было это в том же 1985-ом, в год сорокалетия Победы. По мне, так в родном Новокузнецке. Но – точно ли?

И одной из тех задач, которые ставил перед собой, собираясь на свой, запсибовский праздник, была как раз эта: уточнить детали не дававшего мне душевного покоя своего детища «Сталинский гламур, или...»

Как это обычно случается, архивное дело тут же было отодвинуто встречами с живыми пока, слава Богу, старыми друзьями да грустными поездками, уже вместе с ними – к частым могилам да редким памятникам ушедшим в мир иной общим товарищам...

Братское шефство надо мной чуть ли не в первый день взял Вадим Кувшинов, сперва сталевар нашего второго конверторного, потом – секретарь комитета комсомола. Но когда приехали с ним, наконец, к музею Славы почти не существующего теперь Кузнецкого комбината, дверь его оказалась на замке. Вадим взялся за мобильник. Принялся кому-то звонить, звонил долго, в конце концов сказал.

- Понимаешь, какое дело. У них одна сотрудница в отпуске, а другую им пришлось сократить.

Я попробовал пошутить:

- Сокращение славы?

Со мною всегда спокойный и благожелательный, теперь он прямо-таки взорвался:

- Ну, нет!.. Что-что, а славы Кузнецкого комбината не сократить!

Кроме этой, была и еще одна забота, которая меня прямо-таки грызла. Ну, Елена Филипповна – с ней в основном все ясно.

Но что касается самого главного её зрителя. И товарки по нелегкой работе, и – душевной подруги. Дуси Брагиной. Кузнечанки Евдокии.

Не стыдно ли – в моем повествовании осталась не только без отчаянной, наверняка, биографии. Осталась даже без отчества!

Не хватало мне ее и на единственном коллективном снимке. Сделанном на съемке передачи «От всей души».

В предпоследний день незабываемого гостеванья в любимом городе я уже без всякой надежды заговорил о ней с Иваном Григорьевичем Белым. И – давним соседом по Антоновской площадке. И – бывшим своим партийным начальством. Потихоньку жучившим меня один-на один, но постоянно прикрывавшим от больших, с шашкой наголо, городских да заезжих чиновников.

Написавший к своим девяноста годам несколько умных и честных книжек о Запсибе да Каэмка, он был уже почти свой брат – никому больше ненужный теперь прозаик.

- Слушай, – заговорил в своей обычной манере, ставшей, правда, куда помедленней. – Это не та, что в городе когда-то давно, еще в Сталинске, рассказывали? Меня уже ранило, уже с фронта успел вернуться. Ну, всякие байки в металлургическом институте... студенты! Может, как раз об этих подругах?.. Зима, в зале холод. Одна выходит петь с голыми плечами. А другая с первого ряда

вскакивает, бросается с телогрейкой. Только переболела, дурочка! – кричит. – Что творишь?!

Я и тогда чуть не заплакал. Когда Иван Григорьевич об этом вспомнил, посмеиваясь.

И сейчас, ощущаю, глаза повлажнели...

Сколько в том холодном зале было, выходит, человеческого тепла!

Теперь-то залы отапливают, а вот тепла в сердцах не поубавилось ли?

Не сомневаюсь: конечно, то были они. Елена да Евдокия.

И в бесхитростном возгласе бабьего осуждения «что творишь?!» было, пожалуй, самое высокое признание настоящего, якобы для простого народа, творчества.

Как небо от земли отличного от нынешнего где хорошо продуманного, а где уже не ханжеского, а просто хамского лицедейства, которое денно и ночью преследует нас в театре, на эстраде, в кино. И – в каждой, за исключением буквально двух-трех каналов – телевизионной программе.

Актеров давно сделали первыми советчиками и главными третейскими судьями нашей жизни, от которых только и можно ждать мудрого Соломонова решения.

Безголосые певички и второразрядные скоморохи давно стали нашими кумирами и нашими идолами, а льстивые улыбки потасканных рекламных львиц вешают лапшу на уши неокрепшим либо заблудшим душам: «Вы этого достойны!»

Нет-ка, детки!

Достойны были они.

И не умерли без обещаемых вам теперь сомнительных «западных» преимуществ, а только возвысились.

И живы теперь в ином мире. Который недоступен взгляду, уже не отрываемому от подsunутой заграничной кормушки с поп-корном, пиццей, фаст-фудом, гамбургерами и прочими заграничными яствами...

*

*

*

Дома, уже в Москве, набрал телефон Ольги Марковой, с которой когда-то вместе работали в издательстве «Советский писатель»: как будто бросился догонять ушедший поезд.

Вкратце передал историю Елены Малуковой и Евдокии Брагиной. Спросил: не слышала ли от Георгия Мокеевича, от отца, какого-

либо похожего рассказа? Вдруг ей известно, что его приглашали в Новокузнецк: на передачу «От все души»? Для него, уроженца соседней, томской области, это должны быть дорогие места.

Не помню, чтобы он такое рассказывал, - ответила Ольга.- А места, и действительно, для нас дорогие, ты, наверное, забыл? Мы как-то говорили. Дочь моя, Марина, за кем замужем? За Алексеем Кусургашевым... фамилия эта тебе знакома?

Еще бы! – обрадовался. – Славный шорский род. Давно в Москве. Я даже где-то писал: мол, знание об этом даже помогало мне в Белокаменной на первых, сразу после Сибири, порах: мол, ничего-ничего!.. Мы и тут не изменим нашему таежному м ы с к о в с к о м у времени!

И Ольга Георгиевна разговорилась: тогда, мол, ты должен помнить. Первой в Москву приехала Алма Кусургашева, все её знали как Полину Тимофеевну. Ну, это потом. А сперва была молоденькая красавица, очень понравилась Горькому, он прямо-таки щецествовал над ней...

Потому-то и назвала сына Максимом? – спросил.

Конечно, ответила Ольга. Должен помнить по передачам радиостанции «Юность». А наш Алексей – его сын. В этом году снова были с Мариной в Шории у родни. Рассказывали, край удивительный! Мог бы стать туристическим раем. Они даже встречались потом с депутатом Госдумы от Горной Шории...

... Но это уже, как нынче повелось говорить, совсем другая история.

А нашу мне хочется закончить откровенным призывом: очнись, Отечество!..

Опять самая пора вспомнить, что у тебя – совсем другие герои. Вовсе не те, что денно и ночью с экрана телевизора настырно вламываются в наш дом.

май 1985 г. – январь 2015-го.